

Наш городок лежит не у границы, какое там! До нее так далеко, что, пожалуй, никто из нашего городка там и не был, от границы нас отделяют голые горы, но также и широкие цветущие равнины. Представить себе мысленно хоть часть дороги – и то устанешь, а всю и представить себе нельзя. Встречаются по дороге и большие города, гораздо больше нашего. Можно поставить в ряд десять таких городков, как наш, да в середку втиснуть еще десять таких же городков, и все равно такого огромного и тесного города, как те, не получится. Если не заблудишься по дороге к границе, то уж в этих городах обязательно проплутаешь, а обойти их невозможно, уж очень они велики.

Но еще дальше, чем до границ, если вообще можно сравнивать такие расстояния – это все равно что сказать о трехсотлетнем старике, что он старше двухсотлетнего, – так вот, еще дальше от нашего городка до столицы. Если время от времени до нас и доходят слухи о пограничных войнах, то из столицы до нас почти ничего не доходит, – я имею в виду нас, простых граждан, потому что у государственных чиновников связь со столицей налажена превосходно: не пройдет и двух-трех месяцев, как они уже обо всем осведомлены, во всяком случае, так утверждают они.

Вот и удивительно – и я поражаюсь этому все снова и снова, – как жители нашего городка спокойно подчиняются всем распоряжениям из столицы. За много столетий они не предложили ни одной политической реформы. В столице сменялись царствующие особы, больше того, династии угасали и свергались и начинались новые, в прошлом столетии была даже разорена сама столица и основана другая, далеко от прежней, позже была разорена и она и восстановлена старая – в нашем городке от этого, в сущности, ничего не изменилось. Наше чиновничество всегда пребывало на своем посту, крупных чиновников присылали из столицы, средних чиновников – уж во всяком случае, из других городов, самых мелких брали из нашей среды, так это всегда было, и так это нас удовлетворяло. Высший чиновник у нас – это обер-инспектор по сбору налогов, у него чин полковника, и его даже величают «господин полковник». В настоящее время это старый человек, я знаю его много лет, потому что, когда я был ребенком, он уже был полковником. Вначале он сделал очень быструю карьеру, а затем она как будто затормозилась, но для нашего городка его ранг как раз подходит, чиновнику более высокого ранга жить у нас было бы даже неуместно. Когда я стараюсь мысленно представить себе нашего обер-инспектора, я всегда вижу его на веранде его дома, что на базарной площади, он сидит в кресле, откинувшись на спинку, с трубкой во рту. На крыше над ним развевается государственный флаг, на веранде, такой просторной, что иногда там даже проводятся несложные военные учения, сушится на веревках белье. Его внучата в красивых шелковых платьях играют тут же; вниз, на базарную площадь, их не пускают, с остальными детьми им играть негоже, однако базарная площадь их привлекает, они просовывают головки между столбиками перил, и, когда дети внизу ссорятся, они сверху тоже принимают участие в ссоре.

Итак, в нашем городе полковник – полновластный правитель. Я думаю, он еще никому не предъявлял документа, подтверждающего его права. Верно, у него такого документа и нет. Возможно, он и в самом деле обер-инспектор. Но разве этого достаточно? Разве это дает ему право распоряжаться во всех областях управления городом? Должность у него для государства очень важная, но для горожан она далеко не самая важная. Я бы даже сказал, что в нашем городе создается такое впечатление, будто люди говорят: «Ну вот, ты взял у нас все, что мы имели, возьми, пожалуйста, и нас самих в придачу». Дело в том, что он не захватил власть самовольно и он не тиран. Просто так уже издавна повелось, что обер-инспектор по сбору налогов – самый главный чиновник, и наш полковник, равно как и мы, подчиняется этой традиции.

Но хотя он живет среди нас, не чрезмерно выделяясь своим саном, все же он совсем не то, что обыкновенный горожанин. Когда к нему приходит делегация с той или иной просьбой, он возвышается, как стена на краю света. Позади него ничего нет; правда, кажется, будто где-то вдали еще шепчутся какие-то голоса, но, вероятно, это самообман, ведь на нем кончается все, во всяком случае, для нас. Надо видеть его во время таких приемов. Ребенком я однажды был там, когда делегация от горожан пришла ходатайствовать о правительственной помощи, так как целиком выгорел самый бедный городской квартал. Мой папаша, кузнец, пользуется у нас большим уважением, он был членом делегации и взял меня с собой. Тут нет ничего особенного, такое зрелище привлекает всех, в толпе даже трудно разобрать, кто, собственно, входит в делегацию; прием большей частью происходит на веранде, поэтому находятся и такие люди, что с базарной площади приставляют к веранде лестницы и, глядя сверху через перила, стараются ничего не упустить. В тот раз около четверти веранды было отведено полковнику, остальную часть заполняла толпа. Несколько солдат наблюдали за порядком и, выстроившись полукругом, охраняли полковника. В сущности, хватило бы и одного солдата, так велик у нас страх перед ними. Я точно не знаю, откуда они, во всяком случае, откуда-то издалека; все они до того похожи, что могли бы даже обойтись без военной формы. Это низкорослые, не сильные, но проворные люди; особенно примечательны их могучие челюсти, которым форменным образом тесно во рту, и беспокойно мигающие и поблескивающие глаза-щелочки. Эти их особенности отпугивают, но одновременно и привлекают детей, потому что детям все снова и снова хочется испугаться этих челюстей и этих глаз и в ужасе убежать. Такой ребячий страх не проходит, надо полагать, и у взрослых, во всяком случае, он продолжает сказываться. Правда, к этому присоединяется еще одно обстоятельство: солдаты говорят на совершенно непонятном нам языке и никак не могут усвоить наш, отсюда некая их обособленность, недоступность, что, впрочем, соответствует их характеру – такие они молчаливые, строгие и словно окаменелые; они не причиняют никакого зла в собственном смысле этого слова, и все же есть в них что-то почти невыносимо злобное. Вот, например, приходит в лавку солдат, покупает какую-нибудь ерунду и не уходит, стоит, опершись о прилавок, прислушивается к разговорам, вероятно, ничего не понимает, но вид у него такой, будто он понимает, а сам не говорит ни слова, только тупо смотрит на того, кто говорит, потом на тех, кто слушает, и не снимает руки с длинного ножа на поясе. Это отвратительно, пропадает всякая охота разговаривать, лавка пустеет, и только когда она совсем опустеет, солдат уходит. Вот потому-то, где только появятся солдаты, наш веселый народ сейчас же замолкает. Так было и в тот раз. Как при всяких торжественных случаях, полковник стоял выпрямившись и держал в обеих вытянутых вперед руках две длинные

бамбуковые палки. Это старый обычай, означаящий приблизительно следующее: так он опирается на закон и так закон опирается на него. Всякий у нас знает, что ждет его на веранде, и все же снова и снова испытывает трепет; и тогда даже тот, кого уполномочили говорить, никак не мог начать, он уже стоял напротив полковника, но тут мужество его оставило, и он, отнекиваясь и отговариваясь, попятился и втиснулся обратно в толпу. Другого подходящего человека, который согласился бы выступить, тоже не нашлось – правда, несколько человек вызвалось, но из числа неподходящих, – и все были в большом замешательстве. К нескольким горожанам, известным своим ораторским даром, отрядили послов. В течение всего этого времени полковник стоял, застыв в неподвижности, только при дыхании грудь его заметно вздымалась. И не то чтобы он тяжело дышал, просто он дышал чрезвычайно явственно, вроде того, как дышат лягушки, только у них это всегда так, а для него это было необычно. Я пробрался вслед за взрослыми и долго смотрел на него между двумя солдатами, пока один из них не отпихнул меня коленом. За это время тот, кому с самого начала было поручено говорить, собрался с духом и, крепко держась за двух своих сограждан, начал краткую речь. Умилительно было видеть, как во время этой серьезной речи, живописующей тяжелое бедствие, он непрестанно улыбался униженной улыбкой, напрасно пытаюсь вызвать хотя бы намек на ответную улыбку на лице полковника. Под конец он высказал просьбу; мне кажется, он просил только об освобождении от налогов в течение года, но, возможно, также и об отпуске по дешевой цене строевого леса из коронных владений. Затем он низко склонился и замер в почтительной позе, так же как и все остальные, за исключением полковника, солдат и нескольких чиновников на заднем плане. Мне, ребенку, показалось очень забавным, что люди на лестницах, приставленных к перилам веранды, спустились на две-три перекладыны, чтобы их не было видно во время этой решающей паузы, и с любопытством подглядывали, чуть приподымая иногда головы над уровнем пола веранды. По истечении некоторого времени к полковнику, пребывавшему в неподвижности, если, конечно, не считать вздымавшуюся при дыхании грудь, подошел небольшого роста чиновник; он встал на цыпочки, слясь дотянуться до полковника, тот шепнул ему что-то на ухо, чиновник хлопнул в ладоши, после чего все выпрямились, и он провозгласил:

–Просьба отклонена. Можете идти.

Толпа вздохнула с явным облегчением, все толкались, спеша уйти, сам полковник, можно сказать, снова стал человеком, таким же, как и мы, на него никто не обращал внимания, я увидел только, как он, совершенно обессиленный, уронил на пол бамбуковые палки, затем в полном смысле слова упал на принесенное одним из чиновников кресло и поспешил сунуть в рот трубку.

Этот случай не единственный – так у нас обычно бывает. Правда, время от времени незначительные просьбы удовлетворяются, но тогда всякий раз получается так, будто полковник сделал это на собственный страх и риск, как всемогущее частное лицо, и правительство ни в коем случае не должно об этом знать. Конечно, прямо это не говорится, но это само собой понятно. Ведь в нашем городке око полковника, насколько мы можем судить, – это око правительства, хотя все же тут есть и некое различие, не вполне доступное пониманию.

Но горожане могут быть уверены, что серьезная просьба всегда будет отклонена. Вот то-то и удивительно, что такой отказ нам в некотором роде необходим, и при этом делегации и отказы совсем не простая формальность. Мы снова и снова бодро и совершенно серьезно шагаем туда, а потом оттуда, разумеется, не ободренные и осчастливленные, но в то же время не разочарованные и не усталые. Мне совсем не надо узнавать это от других, я, как и все остальные, чувствую это собственным нутром, и я даже не могу сказать, что мне сколько-нибудь любопытно допытаться, в чем тут дело.

Правда, насколько я могу судить по собственным наблюдениям, существует некая чисто возрастная группа недовольных, это молодежь от семнадцати до двадцати лет. То есть совсем еще юнцы, которые даже приблизительно не представляют себе, как далеко может завести самая незначительная идея, тем более революционная. И как раз в их среду и проникает недовольство.